



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Леонид КОЛГАНОВ

(1955–2019)

Леонид Колганов... Друг – Лёнька! Самый русский из поэтов нерусского происхождения. Прими наш прощальный поклон.

16 мая 2020 года друзья и коллеги Леонида по альманаху «День поэзии – XXI век» отметили его годовщину, наконец-то до конца осознав, что его действительно нет и из «земли обетованной» он никогда не вернётся.

Молодые, учитесь уметь любить и дружить, как умел Лёня.

Сергей КАСЬЯНОВ

КАЛЕЙДОСКОП

* * *

Волшебные свойства невзрачной трубочки с мутноватым оконцем в торце всегда потрясали детское воображение. Внутреннее безумное переливание неровных осколков, отзеркаленное прихотливым творцом в новые манящие миры завораживало, жаркими отсветами заставляло пускаться в гипнотические странствия по животворящей плазменной вселенной воображения.

Так устроена жизнь поэта, так же зачастую устроена и его память. Сколько ни пытайся выстроить её строгую иерархию, как ни тщишься заковать меморию в латы стройной последовательности, но происходит очередной поворот волшебной трубки и из глубин небытия проливается новый, пока ещё запалённый луч любви, ширится, восстаёт, и уже никуда не деться от пронизанной солнечными сосудами данности.

Именно поэтому суетливые заметки о Леониде Колганове, моём незабвенном друге, никогда не смогут стать каким-то единым целым, прозой и вымыслом, о которых принято говорить: «Что-то память подводить стала – пора писать мемуары». Лёня всегда подойдёт к тебе в эту торжественную минуту, посмеётся и скажет: «А помнишь?» Я помню, я буду помнить, я это обязательно вспомню.

* * *

День приезда и день отъезда – один день, так писали в командировочных удостоверениях. И в самом деле – командировка Лёни в пыльное пальмовое «никуда» затянута на три десятилетия. Стоит перед глазами маленькая комната в Переведеновском переулке мая 1992 года, набитая гомоном друзей, трети которых уже нет в сущих, сумасшедшие Лёнины глаза: «Ты представляешь, мясо уже по 8 рублей, надо уезжать!»; освобождение

трёх квартир – Лёниной, его матери и отчима от советского старья (тумбочка из квартиры отчима так и стояла в моей нищей хрущобе вплоть до её слома) – всё было в такой лихорадке отъезда, что даже трагедией не воспринималось и тонуло в багровом карнавальном действе...

Но апофеоз расставания с другом произошёл не в присутствии единственного уцелевшего стола и десятка колченогих табуреток – вопиющая стихия утрат, а несколькими днями раньше в пивной бескудниковских выселок, где наливали мутное пиво в трёхлитровую банку, и где мы предавались прощанию – высокопарно, но по-иному не скажешь.

Нет больше того гадюшника со странным названием «Олешки без спешки», нет и тех «хрущёвских сгнивающих хижин», как живописал их Саша Смогул, нет, увы, и самого Смогула. Но пивняк, корчащейся в разрухе России и двое на глазах стареющих поэтов – остающийся и уезжающий – среди майонезных банок на мокрой столешнице всплывают в калейдоскопе памяти символом безнадёжной строгости бытия.

Таким же смутным и эпохальным, как выход по ступеням из Аида, явился для меня единственный приезд к Леониду в его южные сумерки. И да, передо мной воистину «предстал мертвец, живой до удивленья» – мой на годы утраченный друг. Ещё запыхавшись, сидя на чемоданах, я услышал уже ставшую легендой фразу про «последние шесть». На удивление неудачных шесть, о чём я и не преминул Колганову тут же на чемодане сообщить. Возмущению Лёни предела не было. И тогда, вспомнив об обоюдно удушающем взаимониспровержении эпохи московского нашего бытия, я сказал: «А давай, как раньше, вот тут, не сходя с места, сделаю построчный разбор этих стихов». Друг по ходу разбора синел, зеленел, и уже в полной бордовости шевели усами, выдохнул: «Только тебе я позволяю меня критиковать».

* * *

При всём лирическом и мускулистом упоении поэзией, при всей лихорадочно гигантской, хотя и во многом самопальной эрудиции, Леонид был подвержен фатальным и неудержимым в своей искромётности юмору и иронии – во всех проявлениях: от солдатских начищенных сапог до тончайшего, бьющего наотмашь сарказма. Ещё не написав ни единого стихика, он выдавал такие, к примеру, перлы: «По дороге столбовой / Шёл Иванушка с сумой, / Я ему навстречу – / Ох и изувечу». Или позже, уже на ЛИТО Каратова: «Приду к Каратову в «Звезду» / Оплакать молодость, ушедшую... / Пошлёт Каратов в задницу, / Приду в другую пятницу».

А уж если на пути Колганова вставал не Иванушка с сумой, а рыбаглазый литературный подмастерье, отповедь поэта достигала уровня высокой эпитаграммы. Вот фрагмент программного стихотворения «Розы и волки» (каково блестящее определение двух створцов поэзии!):

...И вечно ходя на иголках,
Поэт серячок-пиджачок
От Розы уйдёт и от Волка,
И в нём загнусавет дьячок,

Вовек никого не обидит,
Не помня пути своего,
На Тихую улицу выйдет
И вечность поглотит его.

В бытовых ситуациях Лёня бывал столь же саркастичен. Когда к Колганову прильнула парочка тридцатилетних графоманок, одна из них вывалила на несчастного поэта неболь-

шую груду остропахнувшей лирики, а вторая укорила Леонида за невнимание к первой. Ничего не задумываясь, Колганов покаялся: «Извините меня, я же не знал, что вы её мама!» А уж фраза Лёни «Мы не аптекари, чтобы взвешивать столь малые величины» навсегда вошла в мой собственный ассортимент.

* * *

Очередной бурный праздник поэзии у меня в гостях. Слушатели – люди простые: приятельница моей первой, ныне покойной, жены Лили и её супруг-слесарь. Утром выпавшийся Лёня попытался уйти домой, но не тут-то было: брюк своих он не нашёл – остались только слесариные. И поскольку поэт без брюк почти нонсенс, пришлось ждать поправки здоровья и возвращения блудного слесаря. Через годы подвиг Колганова повторит Саша Климов-Южин, уйдя с вечеринки в сапогах известного барда.

И ведь не из великих поэтических свершений, а из акварельно-окрашенных стеклышек калейдоскопа в основном и состояла жизнь. Но игрушки надоедают, покоряют чердаки и лоджии, и только выдернутые из небытия – выплывают из мути невзгод и лужиц тепла, заставляя стать нас такими, какими мы были когда-то.

* * *

Мало кто даже из самых близких друзей Леонида знал, что его истинная природа – строгость, поразительная незамутнённость разума и даже иногда настоящая расчётливость. Хорошо помню, как на его тридцатилетнем юбилее после ухода сонма поздравивших, он с тщательностью и со знанием дела сортировал многочисленные подарки. Но судьба очень рано подсказала ему, что быть юродивым поэту не только приятно, но и выгодно. Со временем же, и особенно в Израиле, маска сумасшедшинки настолько прилипла к его добродушию и высокому сердцу, что по иному, нежели как безумным глашатаем, его практически никто не воспринимал. Это помогало Колганову избавляться от толп недоброжелателей и завистников на протяжении всей его посланнической миссии на Земле обетованной и сохранить размашистость души в колкой среде диаспоры.

Именно это его глубинное свойство практичности ещё в Москве позволило поэту стать трибуном квартирников и лидером куцых площадок на свежем июньском воздухе, где только и позволялось выступать неподцензурным поэтам безвременья 80-х. О, как составлял он свои подборки! Как тщательно выверял и вылюбливал последовательность чтения, ориентируясь – и в этом он знал толк – прежде всего на женскую часть аудитории. Научил он полезному ремеслу и меня с совсем крошечным тогда опытом выступлений. До сих пор храню карандашные подборки своих стихов, составленные Лёней – под названием «женская официальная» и «женская неофициальная». Дитя совковой цензуры, он раньше всех нас познал ледяную свободу обрушающей в прах бесприютной вседозволенности, и раньше всех от неё пострадал. Именно этим объясняется его катастрофическое извлечение смысла в русскоязычном рассеянье, зачастую обрекающего поэта на творческие поражения; этим, а не глухотой в отдалении от родителя-языка, как полагают многие. И всё-таки живущему в стране Поэзии именно катастрофа смысла и помогла выжить.

* * *

Перебираю пожелтевшие листки Лёниных писем доинтернетовской эпохи – кричащие и торжествующие, советующие и светские, призывные и укоряющие... Неправда, что от поэта остаются только стихи – как бы прекрасны они не были – калейдоскопическая горка извлечённых из вечности артефактов.

От поэта остаётся кивок с небес, дрожащее птичье пёрышко на иссохшем древе вечной зимы, внезапно проснувшаяся любимая, чьё лицо свела пустынная гримаса памяти...

И осознание той непреложности, что слово было у Лёни. И слово было, и есть, и будет Лёня.

И пребудет творец – Бог.

ДВЕ РАТИ

Недостойных стояли две рати,
Обе мечены равной ценой,
Так хотели друг друга пожрати,
Что ослепли от злобы цепной!

Непонятное было стоянье –
Тех других – против этих и тех,
Но упало на небо сиянье,
С неба пал кладенец-Самосек!

И – от света его прозревая,
Кладенец подхватила одна –
Рать! Нагрязнула тут же другая,
Вырвав меч, изрубила спьяна, -

Инородную вражью силу,
Но сама – недостойна меча,
Всех великих валила в могилу.
Всех бездомных рубила сплеча!

Всё однажды мечу надоело,
Вспомнил меч, что и сам самосек,
И, рванувши за правое дело,
От своих же хозяев посека!

И осталось широкое поле,
Что не видит конца своего,
Меч небесный – как прежде – на воле,
Снова ищет достойных его!

СНЕГ ИЗ ДАЛЁКОЙ НОЧИ

Глядел ты, как опытный ухарь,
И белую видел кровать,
Она же скользнула на кухню,
И стала на стол накрывать.

А после – весёлою ночью –
Пронзила тебя, как стрела,
Солёною плотскою почвой.
И силой земною светла!

Среди замирающей ночи,
Когда не видать ничего,
Ты видел всю землю воочью –
От вспышек греховных её!

Как женщина, нежно стеная,
Снег – белые руки в тоске –
Ломая – кружил и не таял,
И – ночь – серебрил на виске!...

Теперь ты, как вьюк, приторочен,
К своей бедуйинской судьбе, –
Но снег из далёкой той ночи –
Как всхлип – что навечно в тебе!

СРЕДЬ ТРЕСНУВШЕЙ ТОЛЩИ

*«Великая свинья» – боевое построение
тевтонских рыцарей.*

Гуляет гармонь в ковылях по старинке,
И шальные зенки горят, –
Но серые волки из серой глубинки –
Кругами шальными кружат!

И сплыли, как струги, старинные други,
Но – сально блестят холоуи,
И мы воротились на серые круги,
На серные круги свои!

Рыдает пространство, как белая Мати,
И время седое в плену! –
Орда на Ордынке, арба на Арбате,
Псы-рыцари – клином – в Клину, –

Свиньёй протаранив пространство и время,
И рылом разрезавши Русь, –
Что снова, как Слово, с затмениями всеми,
В которых петлять не берусь!

Но в безднах её до сих пор утопая,
Всей воле моей вопреки, –

Душа моя там в самоволке блуждает,
И стонет у льдистой реки!

И стынет она, как солдат-самовольщик,
Забредший в чужое кино, –
А может – то я среди треснувшей толщи –
Сознания – утоп... И – давно...

БЕЛОЕ БЕЗУМЬЕ

Любил красивую и лживую –
И шальные её глаза,
И золотою её гривую
Покрыт был, словно образа!

И, в золотых колечках путаясь,
Тонул – в её медовой лжи,
И словно тень её, сутулился,
Души теряя рубежи!

Теряя разума сокровища –
В её чернеющей глуши, –
Она ж – грехов моих учётчица,
Шептала мне из тьмы: «Греши!»

Затем – души моей растратчица,
Седою стала, как быльё,

А я шептал: «Да не состарится –
Безумье белое её!»

Люблю сварливую и лживую,
Безумье общее деля, –
Её серебряною гривую –
Покрыт – как саваном земля!

КОСА СМЕРТИ

Дождь косит, как косая девица,
Как косящие очи Руси,
Дай косой мне твоей удавиться,
Не уйти от тебя, гой еси!

Достаёт меня вновь приворотно
Твой раскосый раскольничий взор,
Твоей молнии гибкий автограф,
Как подписанный мне приговор!

Устремив – словно грешная сила,
Свои очи, как очи грозы,
Ты меня мановеньем скосила,
Не ресницы, а взмахом косы!

МОЁ СЕЛО

Эвелине Ракитской

Не знаю, кто я есть: простой солдат иль маршал,
Синдбад ли мореход иль гость морей Садко,
Но я хочу домой – я так устал на марше,
До нашего села совсем не далеко!

Как мёртвою водой, упившийся чужбиной,
Я припаду к земле, как дух Святой, легко, –
И прошепчу: Прими во имя Бога-Сына,
До моего села уже недалеко!

И – тут же из земли разверзнет зев пучина,
И конь морской заржёт призывно «И-го-го!» –
И встанет Бог-Отец, оставив Бога-Сына,
И скажет: На земле ты не ищи его.